

## ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁНЫХ ОЧКАХ

*Памяти безымянных  
трёх советских танкистов  
и рабочего-подпольщика,  
зверски замученных фашистами  
близ Ялты в 1941 году*

Я повстречал этого слепого старика на узких улочках крымского Симеиза несколько лет назад, еще при украинской власти. Было ему лет восемьдесят или около того. Ходил он, как и все незрячие, выстукивая дорогу тонкой палочкой, и носил круглые зелёные очки в допотопной роговой оправе. Столь же древним был его костюм, – точнее, не костюм даже, а санаторная холщовая пижама с жирным штампом на нагрудном кармане: «Сан. им. XXII партсъезда». В остальном он ничем не отличался от слепых, когда-либо встреченных мною в жизни, за исключением одной странности, относившейся, впрочем, не столько к самому старику, сколько к окружавшим его людям.

Обитатели Южного берега Крыма, особенно пожилые, в большинстве своём люди доброжелательные и внимательные к калекам. В том же Симеизе сидит на тротуаре возле кафе «Виноград» безногий баянист, нестарый еще алкоголик. Играет он плохо, поёт еще хуже (никогда не слышал, чтобы он исполнил хотя бы одну песню до конца, даже «под заказ»). Местные ему денег не дают, но подкармливают. Всегда стоит перед ним мисочка с едой, вынесенная из кафе поварихой или официантками. А если ему надо перебраться на костылях через заполненную автотранспортом Советскую улицу, чтобы в забегаловке напротив промочить горло, неизменно находятся добровольные регулировщики движения. Тем удивительней, что слепо-

му дряхлому старику, который не пил вмертвую, как безногий баянист, не орал чепуху и не спал прямо на тротуаре, симеизцы переходить улицу не помогали! Во всяком случае, я этого не видел. Обычно помощь слепому на перекрёстке предлагали отдыхающие, которых отличить по внешнему виду от крымчан не составляет труда. Другая странность – южане общительны, все в маленьких курортных городках – приятели или соседи, а со стариком в зелёных очках никто не перебрасывался и полсловечком! Местные, и стар, и млад, смотрели на него, словно сквозь пустоту. Можно было подумать, что для них он не слепой, а невидимый.

Проще всего было бы прямо спросить у кого-нибудь о причинах такого отношения, но я стеснялся, не будучи полностью уверен в объективности своих случайных наблюдений. Вероятно, строил предположения я, у старика нелёгкий характер, он часто ссорится с людьми, поэтому они не хотят входить с ним в контакт даже по мелочам. Есть такое эгоистическое свойство у современных людей, породившее пословицу «а ля Жванецкий»: «Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным». Не скажу, чтобы это объяснение меня удовлетворяло (ведь есть же элементарное человеческое милосердие, которое выше бытовых предубеждений!), но других я не находил. Тем более что, через некоторое время, когда я стал постоянно жить в Симеизе летом, моё предположение в каком-то смысле подтвердилось.

Дело было во второй половине августа, на праздник Преображения Господня. Он отмечается в честь чудесного события на горе Фавор, когда Иисус Христос явился Своим ученикам с лицом, сияющим, как солнце, и в одеждах, белых, как свет. В этот день в церкви происходит освящение плодов. На юге они особенно изобильны и живописны. Стол возле «кануна» завален яблоками, багровыми и ярко-жёлтыми персиками, словно распираемыми изнутри – того и гляди, брызнет – сладчайшей плотью, огромными пепельно-синими сливами, восковыми, точно тающими у тебя на глазах грушами, яйцеобразными, сморщенными, фиолетово-чёрными снаружи и алыми изнутри смоквами, которые называют еще инжиром, кулачковыми бахчисарайскими дынями, тёмно-зелёными продолговатыми херсонскими арбузами, розовыми, бокастыми, согнутыми внутрь, как боксёрские перчатки, помидорами «львиное сердце», крепкими пупырчатыми огурцами и, конечно же, виноградом. Его особенно много, потому что именно об эту пору он созревает.

У нас Преображение – это Яблочный Спас, а в Крыму, скорее, Спас Виноградный.

Сейчас в Симеизе возведён на Красной горке новый од-ноглавый храм-красавец в псковском стиле, золотой купол которого отлично виден и снизу, от моря, и сверху, с трассы Севастополь–Ялта. Он ещё не совсем отделан изнутри, но даже в самый знойный день внутри не жарко и легко дышится. А в описываемую мною пору Покровская церковь размещалась на первом этаже сложенного из дикого камня старинного двухэтажного домика в начале Советской улицы. К храму примыкали покосившаяся застеклённая веранда, служившая притвором, и открытая галерейка, увитая диким виноградом. Окна веранды выходили на восток, поэтому в церковке уже с утра всегда было жарко и очень душно, а что уж говорить о таких праздниках, как Преображение, когда храм до отказа набит народом! Платок, которым я отирал пот с лица и шеи, был насквозь мокр, хоть выжимай. Некоторые люди не выдерживали духоты, выходили на веранду, где, впрочем, было немногим легче. Но особенно тяжело, конечно, приходилось в крошечном алтаре священнику, отцу Евгению, и алтарникам. Мы-то все стояли в лёгких одеждах, а они служили в полном облачении!

Закончился евхаристический канон. Отец Евгений приступил к исповеди. Те, кто не исповедовался, в том числе и я, поспешили выйти наружу, подышать.

Напротив меня расположилась на перилах галереи компания – парень и две девушки, лет по шестнадцати-семнадцати. Они были, что называется, «невоцерковленными», но на удивление терпеливо и смирно, без обычных для молодёжи такого рода шуточек, смеха и тычков в спину простояли на веранде всю службу. Теперь им, особенно парню, хотелось размяться, подвигаться, но двигаться на узкой галерее, ограниченной, с одной стороны, крошечным садиком, а с другой – проходящей внизу улицей, было негде. Парень ёрзал по перилам, сидел то прямо, то боком, а потом и вовсе свесился наружу.

– Ва-ау! Зырьте, что я нашёл! – вдруг крикнул он и, балансируя, вытащил откуда-то снизу, из увядших уже вьющихся лоз, здоровенную кисть винограда. Тут же и отведал:

– Сладкий!

Его подружки тоже попробовали и вмиг очистили гроздь.

– Ой, как классно! – воскликнула одна из девушек. – Мне так пить хотелось, думала, умру, а тут вдруг виноград откуда-то взялся!

Парень снова свесился вниз и сорвал еще одну тяжёлую кисть, потом другую, третью...

Уже началось причастие, а я всё стоял и смотрел на них, не веря своим глазам. Они уплетали за обе щёки настоящий, крупный, просвеченный насквозь солнцем, как на картинах Сильвестра Щедрина, виноград да ещё приговаривали, что он сладкий! А я-то полагал, что галерея увита диким, несъедобным виноградом! А ещё я полагал, что вырастить съедобный виноград на крохотном городском клочке земли, больше напоминавшей пыль, невозможно. Одно из двух: либо сладкий виноград в этих благословенных широтах вызревает сам по себе, буквально на камнях, либо я стал свидетелем чуда, когда Господь, словно во исполнение Своих слов: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь», вознаградил этих девушек и парня за терпение на литургии в день освящения плодов!

Не знаю, служба ли на меня повлияла, но я больше склонялся ко второй версии, тем более что, я никогда не видел, хоть и жил в Симеизе в июле-августе не первый год, никаких плодов на увивающем церковную галерею винограде. А может быть, эта молодёжь просто забавляется, разыгрывая публику, и ест принесённый с собой и заранее спрятанный в сумке за оградой виноград? Проверить это было несложно, но высовываться за перила, подобно парню, мне было неудобно. Поэтому я тихо спустился с церковного двора на дорогу, прошёл под стенку палисадника, на которую небрежно, как отброшенная со лба прядь волос, свешивались перепутанные лозы.

Я не увидел таких крупных кистей, что вытаскивал парень, но мне сразу бросился в глаза опаловый блеск отдельных виноградин среди ржавых резных листьев. Я их сорвал и, почистив от дорожной пыли, попробовал: они, действительно, были сладкими и восхитительно ароматными. Враз опьянённый этим дивным вкусом, как глотком вина, я побрёл вдоль увитой виноградом стены из камня-дичка, невольно ища глазами цельную гроздь, но не нашёл и с грустью подумал, что Господь даровал мне только то, что я заслуживаю. Вот если бы я не усомнился, не стал бы подозревать молодёжь в розыгрыше или размышлять о неведомых мне особенностях вызревания винограда в Крыму, тогда, глядишь, и получил бы гроздь... А так – две-три виноградины... Но и за это спасибо. Проверить на вкус чудо суждено не каждому.

Я собирался повернуть обратно, как вдруг увидел знакомого слепого старика в зелёных очках. Он стоял прямо под распах-

нутым окошком церковной веранды и, казалось, прислушивался, вытянув тощую морщинистую шею, к пению из храма: «Тело Христова примите, источника бессмертного вкусите!». Мимо него в опасной близости проносились автомобили, – тротуара тут не было.

Я почувствовал жалость к этому одинокому, увечному, почему-то никем не любимому человеку. Что он здесь делает? Может быть, он ощущает на склоне лет потребность в вере, но не смеет или стесняется войти в храм? А может, он просто уткнулся в стену на этом самом узком и опасном для пешеходов участке дороги в Симеизе и не знает теперь, как отсюда выбраться?

Я подошёл к слепому:

– Извините, могу ли я чем-нибудь вам помочь? Вы ищите вход в храм?

Он повернул голову ко мне, зашевелил облупленным на солнце носом, точно принюхивался.

– Приезжий, – шамкая, сиплым голосом уверенно определил он. – Из Москвы?

– Да, из Москвы.

Старик помолчал, потом спросил:

– Что ж – хорошо там?

– В Москве?

– Да нет, – усмехнулся он одной стороной беззубого рта, – в храме этом, вход в который, по-вашему, я ищу.

– Ну, смотря, что вы имеете в виду. Физически стоять там тяжело – слишком маленький, не проветривается.

– Понятно. А людишки набились в него, как сельди в бочке. Батюшке-то богатые люди дали денег на новый храм, а он домик себе построил.

– А вы что его видели, этот домик? – необдуманно задал я жестокий для слепого вопрос и внутренне осёкся.

Старик непостижимым образом уловил эту мою заминку.

– Не беспокойтесь, – снова криво ухмыльнулся он. – Да, я не вижу. Но очень хорошо слышу. Каждый шепоток слышу.

– В таком случае, не слышали ли вы шепоток, что на Красной горке батюшка строит новый храм?

– Да, говорят, положили там плиты под фундамент. Только вы уверены, что это для храма, а не для нового домика?

– Лично я уверен, – сказал я, не вдаваясь в объяснения.

Но старика такой ответ не удовлетворил.

– А почему вы уверены? – допытывался он.

– Потому что это место освятили как будущий храм и установили там крест. Ни один священник не решится теперь строить там дом.

– Вы так думаете? А рядом с церковью он может построить себе дом?

Я не ответил. Ехидный релятивизм деда мне уже успел надоесть. Я начинал понимать отношение к нему местных. Но всё же не хотел уподобляться им.

– Вы стоите прямо на проезжей части, – заметил я старику. – Большой автобус или грузовик может просто расплющить вас по стене. Если вам надо выбраться отсюда или перейти на другую сторону улицы, то я вам помогу.

– Я без малого шестьдесят лет перехожу с палочкой эту улицу. Пока никто меня не расплющил. Вы думаете, я не услышу автобуса или грузовика? Я услышу его еще от Алупки. А выбраться я могу без всякой помощи из любой точки Симеиза. Я здесь каждый камень знаю.

«Но не по этой же причине симеизцы не помогают вам?» – вертелся у меня на языке вопрос столь же жестокий, как и про «батюшкин домик», но я, слава богу, не задал его.

– Я просто стою здесь, слушаю, – счёл, наконец, необходимым объяснить свое поведение слепой. – Про «источник бессмертный» и тому подобное. Ну, вкусили они этого источника. А зачем? Сами-то они не бессмертные.

– Телесно – да. Но христианство учит о бессмертии человеческой души.

– Чьей души?

– Как это – чьей?.. Моей, вашей... каждого человека на земле.

– Каждого-каждого? Значит, все мы бессмертны – и те, что уже умерли, и те, что еще не родились?

– Ну да, все.

– Не представляю, – насмешливо покачал головой слепой. – Не представляю, как эти все души учитываются в небесной канцелярии, и где они там размещаются. Вот, допустим, что вы вечный, а остальные все умирают. Да вы на сотом человеке и фамилии их перестанете помнить. А тут, – он ткнул пальцем в окошко церковной веранды, – учёт ведётся только по именам! Вот в прошлом месяце они праздновали Петра и Павла. Вы что хотите сказать: души всех Петров и Павлов бессмертны?

– Думаю, всех.

– Да ерунда всё это. Не верю. Только эти оба и бессмертны, только их и помнят по именам.

– Дело не только в памяти. В чём смысл крещения людей по именам? Если вы крещены в честь апостола Петра, то он и есть ходатай перед Господом о вашей душе, и о душах других Петров тоже.

– Как крёстный отец, да? Только и он, я думаю, на сотом Петре забудет, кто есть кто.

– Не забудет. Обыкновенный выпускник духовной академии обязан помнить всех земных предков Иисуса Христа, всех библейских пророков и всех епископов, которые жили до разделения Церквей. Это сотни имён! А апостол Пётр – не выпускник духовной академии, берите выше. Он святой.

– А я вам вот что скажу про этих Петра и Павла. Один из них предал Христа, а другой, может быть, судил. Немного чести Петрам и Павлам, что у них такие защитники!

– Но они сами прошли через муки и смерть, – напомнил я.

– Да, прошли, потому что решили вкусить «источника бессмертного», о котором там поют, – кивнул в сторону храма слепой. – Прославиться, стало быть. Ведь помнят только тех людей, которые совершили великие подвиги или великие преступления. До остальных никому нет дела. Ну, слава за самое великое преступление досталась Иуде, Пётр и Павел тут сбоку припёку. Вот и решили они совершить великий подвиг, чтобы прославиться навеки. Бессмертия для всех не бывает, как не бывает для всех на земле богатства и счастья. Так что батюшка прав, если вместо церкви построил себе домик, – неожиданно заключил слепой.

– При чём здесь домик? – удивился я.

– А при том. Бессмертие – это казарма какая-нибудь в небесах, где души простых людей разложены по полочкам-нарам. И только начальники живут в своих домиках. У них и здесь были хоромы, и там будут. Откуда, вы спросите? Из нашей памяти! Они строят себе домик в вечности из нашей памяти о них. А у неизвестного бедолаги какого-нибудь, если здесь ничего не было, то там и подавно не будет. Поэтому, если есть возможность построить в этой жизни домик, то обязательно надо строить.

– А если нет такой возможности, надо украсть?

– Надо украсть. А то у тебя украдут – бессмертные эти.

Конструкция здешнего и загробного миров, предложенная человеком в зелёных очках, была грубой и прямолинейной, но я не нашёл сразу, что ему возразить. Моей ахиллесовой пятой было писательство. Если бы я твёрдо, как и положено христианину, верил в личное бессмертие, то давно бы уже перестал переводить

бумагу. Во всяком случае, не сделал бы писательство своей профессией. Наверное, нет человека, которого исподволь не точила бы мысль, что в резкой форме высказал этот слепой старик. Тот, кто приказал высечь на скале одну из древнейших надписей на земле: «Я Кир – царь Ахеменид», тоже, мне кажется, не очень-то верил в личное бессмертие, зато явно верил в посмертную славу.

Но оставлять последнее слово за неверующим стариком я не имел права. Я ведь только что стал свидетелем чуда с виноградом! Да и какой уж он неверующий, этот слепой? Зачем он тогда стоит здесь, слушает? И на Петра и Павла, оказывается, приходил. Я посмотрел на старика. Он улыбался лиловыми сморщенными губами, видя, вероятно, своим внутренним оком мои сомнения.

– Что ж, эта мысль приходила в голову не только вам, – сказал, наконец, я. – И мне, конечно же, приходила. Но знаете что? С научной точки зрения идея бессмертия для избранных посредством славы столь же необъяснима, как идея бессмертия для всех. Если я правильно понял, вы считаете, душа человека после смерти находится в забвении, пока о нём не вспомнит кто-нибудь живой. И тогда возникает некий сверхчувственный контакт, вызывающий феномен бессмертия души. Но разве не имеет значения, что именно вспомнят живые о мертвом? Может быть, многие покойники, прославившиеся злодействами и преступлениями, вовсе бы не хотели, чтобы живые вспоминали о них? Может быть, страдания, которые они испытывают при этом, и есть так называемые адские муки?

– Какие адские муки? – закричал вдруг, брызгая слюной, старик. – После этого ада – еще и адские муки?! Я проклинаю бессмертие, о котором они там поют! Мне оно не нужно! И никому не нужно! Что это за бессмертие, замешанное на страдании? Страдать в этом мире, страдать в том!.. Нет! Не хочу! Пропустите меня! – Он ударил меня по ногам, потом по стене своей палочкой и зашагал мимо, задрав голову, характерной походкой слепого – слегка приседая.

Старик скрылся за поворотом, а я всё стоял и смотрел ему вслед. Жизнь его мне представлялась непостижимой. Где он, бедняга, живёт? Кто за ним ухаживает? У него нет даже синих очков, положенных полностью незрячим. И почему Господь свёл меня с ним на праздник Преображения, показав мне сначала чудо с виноградом? Было ли это противопоставлением? Или, напротив, одно событие было каким-то необъяснимым образом связано с другим?



Из общения со слепым стариком я отчасти понял, почему его сторонятся симеизцы, но только отчасти. Ведь вряд ли он заводил с ними беседы о личном и коллективном бессмертии. Ну а если и заводил – что ж такого? Да, он явно склонен к неприятным разговорам, высокомерен, колюч, но разве он один на свете такой? Да и какие разговоры должен вести человек, погружённый в вечную темноту?

После этой встречи я никогда больше не видел слепого старика из Симеиза. Может быть, он умер, а может, его отправили в дом инвалидов. Лишь минувшим летом я узнал разгадку непонятного для меня отношения к нему симеизцев. Мне осталось лишь понять, почему именно со мной он разговорился близ церкви, и кому это было больше нужно – мне или ему.

Однажды после жаркого дня мы с женой пошли побродить по Симеизскому кладбищу, расположенному на горе, выше новой церкви. С византийских времен покойников на Южном берегу хоронят в каменных могилах, поскольку земли нет. Но не только этим примечательны крымские кладбища. Здесь порой встречаешь совершенно неподражаемые надгробные эпитафии. Вот, например: «Жизнь такова, какой мы её делаем. Моя была восторг и праздник, торжество вечнозелёной природы, пир одиночества и музыкальной классики. Салмин Альфред Георгиевич. 1934 – 2000». С фотографии на вас смотрит улыбающийся, экстравагантно одетый (кажется, в австрийскую военную форму времен Штрауса, с круглой фуражкой) мужчина. На щегольском надгробном камне – изображение знаменитой скалы Дива у Симеиза. Это, что называется, интеллигентская эпитафия. Автора её, безусловно, тоже одолевали мысли о возможности вечного забвения после восторга и праздника жизни, иначе бы он не был столь патетичен. А вот – эпитафия крестьянская, на украинском: «Він закінчив життя, в цілому покладаючись на Господа. Пом'ятуємо, кохаємо, сумуємо. Жинка, діти та онуки. Ткач Петро Тимофійович (1929 – 96)». Едва ли трудовая жизнь Петра Тимофеевича была «восторг и праздник» и уж точно – не «пир одиночества», но вот проблемы забвения его явно не интересовали в той же степени, что нас, интеллигентов. Он и тут, вероятно, предпочитал «покладатися на Господа».

Я усмехнулся, поймав себя на мысли, что продолжаю заочно свой спор со слепым стариком о бессмертии.

Мы миновали территорию нового кладбища и вышли на главную аллею. Здесь, на широком надгробье, стоит небольшой

обелиск с лаконичной надписью: «Три неизвестных советских танкиста и один рабочий зверски замучены немецко-фашистскими оккупантами. Декабрь 1941 г.». Вокруг обелиска – несколько больших надгробных плит с именными табличками. Они окружены цепями и украшены по углам якорями. Но похоронены здесь, кажется, в основном не моряки: «Рядовой Зубов И. Г. Ум. 1945 г.», «Рядовой Адебаев. Ум. 1946 г.», «Ефрейтор Ефимов С. И. Ум. 1946 г.», «Сержант Пашков И. Н. Ум. 1946 г.», «Майор Корнеев С. А. Ум. 1946 г.», «Рядовой Карпач А. Д. Ум. 1946 г.»... Может быть, это морские пехотинцы? Во всяком случае, точно можно сказать только об одном усопшем, что он был военный моряк: «Матрос Мазурик О. К. 1926–1946».

Всего в ограде из якорных цепей покоились тридцать военных, из которых пять человек умерли в 1945 году, а двадцать пять – в 1946-м. Я гадал: а какова причина смерти тех, кто умер в 1946 году, и почему их в пять раз больше тех, кто ушёл из жизни в 1945-м, когда ещё шла война? Может быть, они стали жертвами какой-нибудь катастрофы, диверсии или массового отравления? Я стал искать отдельную табличку, извещающую о том, что же за трагедия здесь приключилась в 1946 году, но ничего похожего не увидел.

– Вы чью-то могилу ищите? – услышал я женский голос. – Не стесняйтесь, спрашивайте, я вам подскажу.

Я поднял голову и увидел за одним из памятников пожилую рыжеватую женщину с двумя пятилитровыми пластиковыми бутылками воды в руках. У ног её вились две собаки – большая и маленькая.

– Почему большинство этих людей умерло в сорок шестом году? – спросил я, указывая на надгробья. – Что здесь произошло?

Женщина поставила бутылки на землю.

– Скончались от тяжелых ран. Здесь же госпиталь был неподалеку, они в нём лежали. А дальше – могила нашего Героя Советского Союза Николая Тихоновича Васильченко. Он умер в восемьдесят пятом году. А там, у входа, похоронены три танкиста и один рабочий. Видели памятник? В сорок первом, во время боёв, наш танк не удержался на склоне, съехал вниз, застрял между скал – как раз там, где теперь аптека. Танкистов и этого, четвертого, про которого написано, что он рабочий, спрятали местные жители возле санатория Семашко. Но нашёлся предатель, донёс об этом, и немцы их замучили. Танк этот после войны из расщелины вытащили, – помню, я девочкой бегала смотреть. Мы с родителями сюда приехали в сорок четвёртом году,

когда татар выселили. Тогда здесь было много всякой разбитой техники. В гору Кошка немецкий самолет врезался. Мы ходили под гору собирать этот... как его... тротил – трубочки такие...

– А этот предатель, – перебил я её, находясь под впечатлением рассказа о трагической судьбе танкистов и рабочего-подпольщика, – он что, был из немцев-колонистов? Или крымский татарин?

– Да нет, из наших. Жил здесь с мамой. В сорок четвертом партизаны ему отомстили: глаза выкололи. Он всё ходил потом по Симеизу – с палочкой, в зелёных очках...

Я сразу понял, о ком идёт речь. И не стал больше ни о чём спрашивать.

Над кладбищем сгущались сумерки. С соседней горы на него напоздало облако, подсвеченное лучом уже невидимого, свалившегося за Яйлу солнца. Через несколько минут оно окутает мерцающим, плотным, влажным туманом и нас, и могилы... Уже явственно слышался запах озона, как после дождя. Я вспомнил, что в светлом облаке, по представлению древних, являлся людям Бог... А далеко внизу, вдоль моря, слившегося с потемневшим небом и казавшегося оттого бездной, цепочкой загорались огни вечернего Симеиза, по которому фланировали загорелые, подвыпившие, беззаботные люди. Они шли мимо аптеки, на месте которой застрял в сорок первом году танк, мимо санатория имени Семашко, где истязали танкистов и рабочего... Оттуда едва доносился шум курортной жизни, не знающей и не желающей знать, как тяжело бывает бремя человеческого выбора.

## НЕ ЗАБЫВАЙ ЯЛТУ!

Василий Комаров<sup>1</sup> на войне командовал взводом. Летом он получил ранение под Мариуполем, а лечиться его отправили в Крым. Врачи велели ему ходить, чтобы разрабатывать большую ногу, и он подолгу гулял по Ялте. В этот сырой осенний день Комаров шёл по горбатой выщербленной дороге из Ялты в Аутку. Слева, словно обрываясь из-под ног, уходили вниз разномастные кровли, между которыми недружелюбно поблескивало алюминиевое море, справа того же цвета небо подпирала отвесная гора, служившая как бы стеной дороги.

---

<sup>1</sup> Большинство героев рассказа носят подлинные фамилии и имена прототипов. – Прим. авт.

Туман сгущался. Внизу наконец Комаров увидел подходящий по описанию дом, цель своего сегодняшнего путешествия. Здесь когда-то жил знаменитый писатель. Так вышло, что Комаров до тридцати лет не прочитал всерьёз ни одной его вещи, кроме коротких рассказов. Когда он был студентом, то проза этого писателя считалась молодёжкой занудной и устаревшей. Потом пошла такая жизнь, что стало вообще не до чтения. А в симферопольском госпитале Комаров нашел в тумбочке оставленную прежним хозяином потрёпанную книгу писателя «Повести и рассказы» и прочитал от корки и до корки. Эти повести и рассказы обладали бесценным качеством старой доброй прозы – помогали, когда трудно. Не то чтобы они пробуждали надежды и звали неведомо куда, напротив, с тихим мужеством говорили, что жизнь человека – это страдание. Счастье в ней так мимолётно, так редко. Оно гость в этой жизни, а не постоялец. Постоялец – это страдание. Всё, всё, что происходит с этой когда-то огромной страной, – тоже страдание. Огромный театр, а в нем бесконечная драма. Вот-вот, казалось бы, наступит очищение, катарсис. Шли годы, не наступало.

Комаров смотрел сверху на окутанный туманом белый двухэтажный особняк с башенкой. Неясно, как в полусне, вспоминалось недавно прочитанное: «... мелькали внизу огни... казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть... им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то... они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз всё-таки надо...»

– Всё-таки надо, – повторил вслух Комаров. Где-то там, на северо-востоке, в степях Приазовья, шла война, на которую ему предстояло вернуться. Комаров был добровольцем, но в победу уже не верил. Если бы весной или хотя бы в августе... После ранения он почувствовал какое-то безразличие к происходящему. На больничной койке у него появилось время, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Всё чаще он приходил к выводу, что он никакой не солдат, и на этой войне вполне могли бы обойтись и без него. Быстро смеркалось. Комаров, хромя, пошёл назад.

Когда он вернулся в центр города, уже совсем стемнело. Дом, в котором Комаров снял комнату, был у самого моря. Окна во втором этаже померанцево светились. Он открыл дверь выданным хозяйкой ключом, вошёл в прихожую. Когда он зажёл свет, из таинственной глубины зеркала напротив на него посмотрело длинное утомлённое лицо с сильно обозначившимися

подглазьями. Комаров недовольно отвёл глаза, пригладил волосы. На лестнице показалась хозяйка. Они поздоровались.

– Будете пить чай? – улыбаясь, спросила она.

– Не откажусь.

Поднялись в гостиную. Комаров уже отвык от общения с женщинами и смущался, ловя на себе её взгляд. Анна Лаврентьевна несколько лет назад потеряла мужа, но была еще довольно свежей и милой женщиной. Они сидели друг против друга за круглым столом и пили заваренный хозяйкой чай. Анна Лаврентьевна спрашивала Комарова про войну, он скупно отвечал, потому что всерьёз ничего вспоминать не хотелось, а в шутку было вспомнить нечего. Тогда она поведала ему о покойном муже; он внимательно слушал, но впоследствии обнаружил, что в памяти об её муже не осталось почти ничего.

Потом замолчали. Тихий ангел пролетел. Чай был допит, следовало, вероятно, откланяться. Но Комаров отчего-то всё сидел, считая чаинки на дне чашки. Он немного разговорился, и оставаться одному не хотелось.

– Вы странный человек, Василий Матвеевич, – ласково сказала Анна Лаврентьевна. – Внешне похожи на военного, а по характеру – нет. Военный человек готов ответить на все вопросы жизни, не задумываясь – правильно, неправильно. А вы как бы всем своим видом говорите: может быть, так, а может, этак.

– Что ж, – пожал плечами Комаров, – не буду скрывать, Анна Лаврентьевна, я не знаю ответ ни на один вопрос жизни.

– Так ли? – засмеялась она. – А как же вы живёте?

– Так и живу.

– Ну, на войне-то, наверное, вы знаете, что делать?

– Наверное. Поэтому-то я на войне.

– А страшно убивать людей? – неожиданно спросила она.

Комаров поднял глаза от пустой чашки. Анна Лаврентьевна сидела, удобно откинувшись на спинку стула, округлые колени спокойно лежали под мягкой материей платья.

– Первый раз убить человека страшно, ежели ты с ним лицом к лицу, – наконец ответил он, растягивая слова, как на экзамене. – Но вообще это не самое страшное на войне. Страшно, когда тебя убивают. – Он поднялся. – Вы знаете, в обществе такой приятной женщины, как вы, не хочется об убийствах. Спасибо за чай.

Комаров спустился к себе, разулся, лёг на диван. Он знал, что уснуть долго не удастся. Смежив веки, глядел на проплывающих под ними прозрачных амёб. Густой туман, белый, как молоко...

скрывает бездонную пропасть... в числе бесконечного ряда жизней... его... этой женщины с круглыми коленями... Колени вдруг приблизились, и он положил на них голову. В точно таком же положении Комаров проснулся три дня спустя вечером. В темноте он видел над собой лицо Анны Лаврентьевны, влажный блеск её глаз. Она склонилась над ним, гладкие груди коснулись его лица. Мимолётное прикосновение оставило ощущение радости. Так, словно вспоминаешь о ней... Он прижался небритой щекой к её животу. Анна прерывисто вздохнула. Тикали часы. Море одышливо било в набережную. Сквозь зашторенные окна веером проникал, скользя по полу, зелёный свет маяка с оконечности мола.

– Знаешь, – сказала Анна, – а ведь с мужем у меня не было так... ты понимаешь? Я даже тяготилась нашими отношениями. Хотя по-своему и любила его.

– А разве после мужа ты ни с кем не встречалась?

– Встречалась... Да всё не так. Как-то просто. Точно по необходимости. Да и кому сейчас до любви? Встретились – и разошлись.

– А что значит – просто? Одинокие постояльцы вроде меня? Анна усмехнулась.

– Может быть, ты и не знаешь ответов на вопросы жизни, но сам, как всякий военный, задаёшь прямые вопросы. Слишком прямые.

Комаров поморщился.

– Прости, Аня. Душой очерствел – незаметно. Дело уже не в войне. Просто жизнь стала, как бездна в тумане. Это один писатель сказал. И куда ни пойдёшь – всё вроде бы стоишь на краю пропасти. Назад пути нет, а впереди туман, бездна.

– Зачем ты так? Мир не бездна, в нём люди живут. И у тебя, наверное, есть кто-то, родные, близкие... любимая.

– Никого у меня нет. Я уже и забыл, когда с людьми по-человечески разговаривал, ну вот как теперь с тобой.

– Ну и говори, Васенька, говори.

Он засмеялся, провёл пальцем по её ключице.

– А разве тебе интересно?

Она не ответила, поцеловала его в глаза. Он приподнялся, сел рядом, обнял её. Прожектор на мгновение осветил их: загорелые плечи, блестящие лодыжки Анны Лаврентьевны и бледную грудь Комарова.

Назавтра выдался прекрасный, солнечный день. Туман испарился, воздух подсох и остекленел. Южный ветерок промыл

его. Море из алюминиевого сделалось сиреневым, тёплым на вид. Оно, может быть, и вправду было тёплым: по нему прыгали, как детские мячи, головы купальщиков. Одурающе пахли кипарисы. Анна Лаврентьевна и Комаров шли по набережной. Комаров кормил чаек, бросая им куски булки.

– Отвратительные птицы, – говорил он, щурясь на солнце. – Раньше, когда я не видел их, то, как и многие, полагал, что в них есть что-то поэтическое. Ничего подобного. Во всяком случае, вблизи. Они вечно что-то клюют на помойках своими длинными развратными клювами. «Чайка» у Чехова – страшное название. Читателю с «большой земли» это не понять.

– Ты говоришь, как крымские рыбаки. Они называют чаек летающими свиньями, а дельфинов – плавающими свиньями. А, по-моему, чайки – красивые птицы. Такой излом крыльев...

– Еще немного, и ты убедишь меня, что эта подсиненная лужа – Понт Эвксинский – тоже красива.

– Ты шутишь? Я никогда не поверю, что кому-то может не нравиться Чёрное море.

– Нравится, нравится! Только для северянина немного конфетно. Прямые линии Балтики, адмиралтейская игла, шлем Исаакия, ростральные колонны – вот наша красота. Дух Петра Великого. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Военный корабль так же уместен на Балтике, как заколка в твоих волосах. А взгляни на этот сторожевик: смотрится, как задник декорации в оперетте. Уж балтийцы не дали бы дважды утопить свой флот.

– На севере холодно, – она передёрнула плечами. – А я не люблю холода. Где холод, там и смерть. И мне не нравятся прямые линии.

Море искрилось лучами, как будто в нём плавали зеркала. Воздух подёрнулся ленточками шашлычного дыма. Из гостиницы «Россия» высыпали на набережную и мол по-летнему одетые мужчины и женщины. Были даже иностранцы с фотоаппаратами. Комаров и сам чувствовал себя иностранцем. Казалось, с того момента, когда он стоял над плавающим в тумане домом писателя, прошло лет девяносто. Неужели где-то есть война? Зачем?

В открытом кафе на набережной они заказали вина. Комаров пил много, чтобы подольше ощущать себя не слишком обременённым заботами путешественником. Анна курила, оставив блестящий локоть. Была она сегодня удивительно хороша. Жаркая ночь с короткими перерывами на сон, без остатка

вымотавшая Комарова, казалось, лишь освежила её. Подошёл уличный фотограф, предложил снимок на память. Анна отрицательно покачала головой.

– Отчего же ты не хочешь, Аня? – удивился Комаров. – Что плохого, если у меня на войне, как и у моих товарищей, будет в бумажнике фотография, которой я могу похвастаться? Вот моя любимая женщина. Наступит мир, обязательно поеду к ней.

– Я всё не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь серьёзно. В нашей семье было принято считать, что фотографироваться на память – дурная примета.

– И оттого у тебя дома нет никаких фотографий?

– Может быть. Мы однажды вот так снялись с мужем, а потом его не стало. А я ведь его тоже просила не сниматься.

– По этой логике все эти здоровые и упитанные люди во круг никогда не должны были фотографироваться. Аня, что ты придумываешь? Я хочу иметь наше фото. Давай-ка я подсяду к тебе. Снимайте, маэстро. Прямо за столиком. На фоне пальмы. Привет из солнечного Крыма.

Анна пожалала плечами, отпила вина. Маэстро установил треногу, навёл на них сверкнувшую в лучах солнца оптику объектива.

– Бликует, как снайперский прицел. На войне, если блеснёт вдаль такая штука, то сейчас же надо падать на землю, а то прилетит птичка, – острил оживлённый вином Комаров.

– Птичка? – шепелявя, переспросил лысый маэстро. – Может быть, зелаете сняться с попугаем? – Большой какаду, косивший на них круглым глазом, сидел у него на плече, как у пирата.

– У вашего попугая наверняка блохи, – заявила Анна Лаврентьевна. – С ним я точно не буду сниматься.

– Цо вы такое говорите за блох? – возмутился фотограф. – Никогда у него их не было! Это благородная птица! Я за ней ухаживаю! Впрочем, как знаете. Мое дело – предложить.

– Аня, ты хмуришься? – спросил Комаров, когда маэстро удалился. – Ты чем-то недовольна? Это всё мои дурацкие шутки?

Анна покачала головой. Солнце горело на белой поверхности стола, подсвечивало снизу смуглую руку Анны, и она стала почти прозрачной, переплетённой в глубине, в нежной тени лучевой кости, сетью тоненьких голубых жилок. Глаза её блуждали далеко.

– Скажи, – спросила она, по-прежнему не глядя на Комарова, – кто-нибудь знает, что ты здесь... у меня?



– Нет, я никому не говорил.

– А у кого ты узнал, что можно у меня остановиться?

– Ни у кого. Я погулял по набережной и постучался в первый попавшийся дом. А почему ты спрашиваешь?

Она не ответила. Лицо её показалось ему вдруг усталым. В театральном саду заиграл оркестр. Набережная постепенно пустела. Комаров допил вино, оглянулся – не заказать ли ещё?

– Вася, – сказала наконец Анна, – ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?

Комаров вздрогнул. Некоторое время назад, шутя о фотографии в бумажнике, он поймал себя на мысли, что думает о войне как о чём-то таком, что уже не имеет к нему никакого отношения.

– Что ты, Аня? – проговорил он, сам уже не глядя ей в глаза. – Как это – не возвращаться? А что обо мне люди подумают? Я ж командир взвода, присягу принимал.

– Я в этом мало что понимаю... – медленно сказала она. – В присяге особенно. Сейчас каждой новой власти присягают. В Крыму есть офицеры, которые присягали по пять раз. Но ты ведь доброволец, не так ли? Волен прийти, волен уйти?

– Это было бы слишком просто, – усмехнулся он. – Война такая штука, что человек волен на неё прийти, но не совсем волен уйти.

– Но ведь она скоро может кончиться? И тогда твой уход будет означать не то, о чём ты думаешь сейчас.

– А что он будет означать?

– Ну, то, что война кончилась и надо начинать новую жизнь.

– А ты убеждена, что она скоро кончится?

– Так говорят.

– Да? Но только почему-то не на фронте. Хорошо, допустим, я дезертировал. И как мне после этого людям в глаза глядеть?

– Каким людям? Никто же не узнает.

– Ты не поняла. Здесь много людей с войны – лечатся, отдыхают. Я их по глазам узнаю.

– Но ведь это не твои знакомые?

– Какая разница? Могут встретиться и мои. Ты пойми...

– Я понимаю. Всякий мужчина стоит перед выбором: женщина или война... женщина или мужская дружба... женщина или карьера... женщина или водка... Но выбирает всё-таки что-то одно. Между своей жизнью и чужой. Я предлагаю тебе выбрать свою. А потом: зачем тебе здесь с кем-то встречаться? Поживёшь до заключения мира у меня, без нужды не выходя на

улицу. Ведь и вправду все говорят о мирных переговорах. Главное – решиться, поверь. А выход обязательно найдётся.

– Аня, а ты представляешь, что будет, если все уедут с войны? Мы что – на неё пошли просто так пострелять? Ты знаешь, что эти сволочи творили в Киеве, Одессе, Мариуполе?

– Все знают. Это страшно. Но ведь война в любом случае кончится. Те, кому посчастливится выжить, разойдутся в разные стороны и снова будут каждый за себя. Я вот увидела тебя в первый раз – меня даже в сердце что-то толкнуло. Такой ты был одинокий. Разве ты был кому-нибудь нужен, кроме меня?

– Как человек – едва ли.

– Ну вот, зачем же тебе беспокоиться о других? У них своя жизнь, свои представления о долге. Ты свой выполнил, был близок к смерти. Тебя могло уже не быть. Война на исходе. Если ты счастлив сейчас со мной, то там тебя обязательно убьют. Таков подлый закон жизни.

– Станный у нас разговор, – заметил Комаров. – Ты же полюбила меня воином, а не дезертиром. Но теперь хочешь, чтобы я стал дезертиром. Это так называемая женская логика?

– Я знаю одно, – с мрачной уверенностью тихо сказала Анна. – Если ты вернёшься на войну, тебя точно убьют. Так говорит мне сердце. А сердце меня редко обманывает.

Они замолчали. Скулы у Анны Лаврентьевны зарозовелись. Комаров прислушался к себе и чувствовал некоторое недоумение: тема разговора оставила его равнодушным. На глазах у Анны показались слёзы. Комаров пожал её локоть.

– Не обижайся, Аня. Я не могу тебе сейчас ответить. Может быть... потом.

Он подозвал официанта, расплатился. Давешняя лёгкость исчезла. Море раздражало. Они бесцельно пошли вверх по улице, не глядя друг на друга. Через некоторое время в просвете домов выросла нарядная церковь Александра Невского, стилизованная под суздальский период. Говорили, что её посещали когда-то члены императорской фамилии.

– Зайдём? – предложила вдруг Анна.

Комаров безразлично кивнул, хотя что-то внутри него противилось этому, какая-то тяжесть на сердце. Они вошли. В храме было не протолкнуться. Служили вечерню. Паникадило не горело, только жарко потрескивали свечи в сумраке. Дышать было нечем. Анна исчезла. Комаров поискал её глазами и нашёл у образа Богородицы, со свечкой в руке. Он чувствовал себя всё хуже. В сознании проплывали обрывки фраз, неведомо зачем

отпечатавшихся в памяти: «... из кадила струился синеватый дымок... И столько грехов уже было наворочено в прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания... Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну... В числе бесконечного ряда жизней...» Огоньки свечей и лампад поплыли куда-то в сторону, вытянулись тонкими лучами. Комаров ощущал, что глаза его влажны, но это были словно чужие глаза. «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веко-ов...» Анна появилась за спиной, тронула его за локоть. Они вышли из храма.

Комаров так и не вернулся в свою часть. Он отпустил бороду, выходил из дома Анны Лаврентьевны только в сумерках. Дни тянулись однообразные, длинные. Однако Комаров не скучал. К нему пришёл великий покой, оцепенение. Днём он лежал на диване, глядел в полудрёме, как текла его прошлая жизнь, неспешная, мутная река. Анна уходила на службу в Ялтинский морской порт, приносила новости. Точнее, никаких особых новостей ни о войне, ни о мирной жизни не было. Менялись лишь слухи. Рубль с каждым днем всё больше обесценивался, но к этому уже люди привыкли. А ночью они лежали на супружеской кровати Анны и её покойного мужа, вольно переплетаясь телами, как осьминоги щупальцами, и подолгу скрипели боковинами под Анины стоны, стучали спинкой о стену – размеренно вначале и всё нетерпеливей к концу, под зелёные вспышки маячного огня, сменявшиеся вспышками оргазма. Этот настойчивый стук не остался без ответа: Анна призналась, что уже беременна. Она говорила, что счастлива, потому что ей не удавалось понести за все годы жизни с мужем. Комаров не знал, счастлив ли он. Он испытал нечто похожее на счастье тогда, в первый раз, когда лежал головой на коленях у Анны, и её груди мягко коснулись его лица. Теперь же он ощущал лишь великий покой. Великим покоем была и Анна, её рассудительность, тёплые плечи, тяжёлые гладкие груди, нежный живот, лоно, сильные руки. Комаров дремал.

Он очнулся лишь спустя полтора месяца после их знакомства. Анна была как всегда на службе. Комаров вышел подышать свежим воздухом, купить папирос. Обычно перед этим, чтобы не встретить знакомых, он выжидал у окна за шторой момент,

когда улица опустеет. Но сейчас не пришлось ждать: ни одного прохожего не увидел он. Комаров скользил по улице, как тень, держась стен домов. Со стороны пристани доносился какой-то шум. Вдруг из-за угла на Комарова вышел человек, похожий на него самого: шляпа, надвинутая на глаза, чёрное пальто, клочковатая борода. Увидев Комарова, он остановился и взял его за рукав.

– Вы слышали? – свистящим шепотом сказал он. – Они уже в Крыму, прорвали фронт.

В голове у Комарова раздался дребезжащий звон, точно в треснувшем колоколе. Он очнулся. Улица показалась ему бесконечной.

– Как? – пролепетал он. – А как же укрепления?

– Укрепления! – горько усмехнулся незнакомец. – Они прошли гнилым морем. Говорят, вот-вот возьмут Джанкой или уже взяли. Через несколько дней будут здесь. Спешите попасть на пароход.

Незнакомец исчез, будто растворился в воздухе, а Комаров всё стоял на углу под колючим северо-восточным ветром. Прошли гнилым морем? Что это? Значит, за то время, что он дремал днём, а ночью делал Ане ребенка, сдали Приазовье и Северную Таврию? Гнилым морем, в этакую-то пору?.. Ведь на Перекопе, должно быть, уже настоящая зима. Что заставило красных лезть в ледяную воду? Комаров даже не представлял, смог ли бы его взвод выполнить такой приказ. Он вспомнил портрет Троцкого в захваченной штабной теплушке красных: нечеловеческие глаза за стёклышками пенсне, стоящая торчком борода. И еще агитационный плакат «А Ты записался добровольцем?», где в виде красноармейца, тычущего в тебя корявым перстом, тоже, по-видимому, был изображён Троцкий. А ты? А ты поселился у одинокой ялтинской женщины в потайной комнатке, вход в которую перекрыт высоким шкафом с раздвижной задней стенкой из фанеры. Откуда и зачем у Анны такой тайник, Комаров почему-то не спрашивал. Он входил в эту свою келью через дверцы шкафа, отодвигая в сторону плечики с платьями Анны Лаврентьевны и пиджаками её покойного мужа, словно герой авантюрного романа, – только его не ждали здесь ни ящики с сокровищами, ни лаборатория ядов. Диван, столик, лампа, графин с водой, узкое окошечко наверху для вентиляции. Судно для нужды. Всё, что требуется джентльмену. А когда возвращалась домой Анна, он вылезал из своего зашкафья, чтобы после короткого ужина дождаться, когда она придёт к нему в постель

нагая, обнимет, прижавшись всем телом, как жена, и они, слившись в одно гибкое существо с четырьмя руками и ногами, будут доламывать кровать под её прерывистые стоны. А утром – рраз! – и снова в шкаф. Такие вот командиры взводов в Белой армии. Понятное дело, их не заставишь лезть в гнилое море, и они сами никого не сумеют заставить.

Комаров поплёлся по бесконечной улице. «Красуйся, град Петров, и стой, непоколебимо, как Россия»... Ясный погожий день стоял перед глазами, войсковой смотр в Феодосии перед высадкой десанта в Приазовье. Вдоль строя блестящих на солнце штыков ехал на породистом жеребце курносый Слэцов. Сияли золотом его широкие генеральские погоны, в складках ослепительно белой венгерки таилась прохлада. Бился по ветру полковой флаг, пели высокие трубы. «Здорово, ребята!» «Здрав-ав-ав ваше-ство!» – закричала соседняя рота. В числе бесконечного ряда жизней. Теперь уже не бесконечного. И не жизней. Ряд мёртвых русских землепашцев, лежащих в поганных солончаках. Его братьев, что стояли с ним в Феодосии плечом к плечу. «Рады стараться, ваше-ство!» Нужно ехать на фронт. На фронт? А где он теперь, фронт? Везде. Везде, где найдёт тебя разъяренная контрразведка и поставит к стенке. Или красные особисты. Но кому от этого будет легче? Ане? Неродившемуся ребенку? Мертвым землепашцам? «... Так всё невылазно, непоправимо, что даже несообразно просить о прощении»...

Комаров стоял перед нарядной церковью Александра Невского. «Ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?» «А присяга?» Он хрипло засмеялся и пошёл назад. Спрятался, укрылся от лавины попоной. «Струйки дыма, похожие на кудри ребенка... И столько грехов уже наворочено в прошлом... Но он просил о прощении и даже всхлипнул громко...» Не скрываясь, он вошёл в дом. В передней его встретила Анна.

– Собирайся, Аня, – сказал он. – Красные прорвали фронт.

Ресницы у Анны дрогнули. Она прислонилась к лестнице.

– Вот и прекрасно. Зачем же собираться?

– Как это – зачем? Ты хочешь остаться?

– А почему нет?

Комаров засмеялся.

– Аня, я понимаю, что вас в вашей курортной Ялте всю войну не очень беспокоили. А тем временем в пятидесяти верстах отсюда, в Севастополе, матросня жгла живьём в корабельных топках офицеров. Теперь и здесь так будет, слишком много буржуев понаехало с материка. Нас уничтожают как класс, не пу-

лей, так измором. Мой отец умер от голода, мать с сестрой от сыпняка. А сколько ещё таких!

– Я знаю. И, тем не менее, это шанс.

– Какой шанс?

– Выжить. Допустим, мы пойдём сейчас в порт, купим билеты. Я, наверное, смогу это устроить. Но тебя могут узнать еще на пароходе. Не на пароходе, так где-нибудь в Константинополе или Варне. Но обязательно рано или поздно узнают. Ты хочешь уехать, чтобы увезти туда эту жизнь с оглядкой? Я специально не рассказывала тебе о положении на фронте. Неужели ты не понимаешь, что красные теперь – наша единственная надежда? Отсюда уедут те, кто знал, что ты белый офицер. Ты станешь студентом, скрывающимся от врангелевской мобилизации. С прогрессивными убеждениями. Ты можешь служить в каком-нибудь их культпросвете или наркомпросе. И получать паёк. Они тоже не могут без интеллигенции. Их вожди сами интеллигенты, понимают это. Их цель не уничтожить нас, а заставить служить себе. Так отчего бы не послужить? Разве ты не мечтал никогда служить народу?

– Аня, очнись! Какому народу? Десять миллионов дезертиров ушли с фронта с оружием в руках и три года терроризируют страну! А мне прикажешь им служить? Ты что, Чернышевского на ночь начиталась? Не будет тебе алюминиевых дворцов и даже дома этого не будет! Здесь разместят штаб этого самого культпросвета. А тебя босой пустят на все четыре стороны. Вслед за недоучившимся студентом сомнительно прогрессивных убеждений.

– Выгнать не выгонят, а подселить каких-нибудь комиссаров могут, – рассудительно сказала Анна. – Да если и выгонят, беда небольшая. В Ялте мы не пропадём, я знаю здесь многих хороших людей. Но главное, Вася, мы будем вместе. И ребёночек, понимаешь?

Комаров смотрел на Анну Лаврентьевну, как на диковинную рыбку за стеклом аквариума. Она покраснелась, прядки выбились из высокой прически. Только рука, сжимающая перила, была белая-белая.

– Ты бы видела истерзанные трупы, которые откопали во дворе киевской чрезвычайки, когда мы заняли город! Ты что думаешь, они остановятся, войдя во вкус террора? Нет! Вот они одну проблему решили расстрелом, другую, третью. Это возвращает. Ведь ничего не надо, только патронов побольше. И захочешь без расстрелов, да не сможешь. Кончат резать контру,

начнут своих Мирабо и Дантонов. А где лес рубят, там щепки летят. Сказать тебе, кто эти щепки? Или сама догадываешься?

– Не знаю... – она отвернулась. – Уезжай, если хочешь. Мне незачем, всё равно я там останусь одна. Уж лучше здесь.

Комаров не ответил. Что он мог ответить? Глаза будущего были пусты. Он стоял на пороге и мял шляпу в руках. Назад пути нет, а впереди туман, бездна. Из непритворённой двери сквозило ветром. «Культпросвет, культпросвет», – бессмысленно повторял он про себя. Анна не двигалась. Плечи её поникли.

– Ладно, попробуем, – сказал Комаров. – Что нам еще остается?

И он прошёл мимо неё в комнату, где стоял шкаф, открыл дверцу.

Через несколько дней в кабинете исполняющего обязанности начальника ялтинской ЧК Буревого заверещал телефон. Он взял тяжёлую трубку. Звонил дежурный из караулки.

– Товарыш Бурэвый! Тут до вас якый-то жид прыйшов з питаннем. Призвыще – Панафидин. – В трубке слышался протестующий голос – видимо, упомянутого Панафидина. – Чого? А-а... Выбачьте: вин кажэ, шо не жид, а пиндос. З особыстым питаннем до вас.

– Ты что? – гаркнул Буревой. – Сгною за антисемитизм! Что это за слово – жид? Какой еще пиндос? С каким таким особенным питаньем? Педераст, что ли? – не без опасения осведомился он.

– Та ни. Шо ж я, нэ знаю, шо такэ пидорас? Цэ чоловик, якого замисть жинкы выкорыстують. А цэ – грэк. Грэков в нас так клычуть – пиндосамы. А питанья – цэ по-нашэму вопрос. Звычайно, товарыш Бурэвый, можэ, вин и пидорас, алэ ж я нэ бачыв, колы його...

– Заткнись! Я из тебя выбью великорусский шовинизм!

– Шо вы?! – испугался словоохотливый караульный. – Шо вы? Сказылыся? Який вэлыкоруський жопынизм? Я ж хохол! Мы, товарыш Бурэвый, нэ кацапы...

– Ладно, ладно! Впусти. Как устал от этих махновцев!.. – вздохнул Буревой, опуская трубку. – Все у них жидаы, пиндосы, кацапы... «Выбачьте»... «питанья»... «жопынизм»... Тьфу! Дикие люди! А ты изволь, делай с ними мировую революцию...

Вскоре, деликатно постучав, в кабинет бочком вошёл «пиндос» – пожилой маленький грек в чёрном пальто с траченным молью воротником. Ещё от порога начал он кланяться. Буревой насмешливо за ним наблюдал.

– Ну, что ты кланяешься, как Петрушка? – спросил он. – Я тебе что – частный пристав? Выкладывай, с чем пришёл, или убирайся. Нет у меня времени со всякими клоунами разговаривать. Мне здесь надо с контрреволюцией бороться, а не на твой цирк смотреть.

– Так вот, гразданин товаришь нацяльник, посмотрите, будьте ласковы, сию карточку. – Он протянул чекисту какую-то фотографию.

Тот взглянул на неё, потом быстро на грека, потом снова на фотографию. На открытом челе Буревого появилась вертикальная складка.

– Та-ак, – наконец сказал он. – Ты зачем это снимал?

– Я во всякий час и во всякое время снимаю, гразданин комиссар, когда клиенты просят, ибо имею многих деток, коих надо кормить. И господина офицера с мадам Касьяновой снял, есё в октябре, при Врангеле. Эта мадам Касьянова тогда сказала, цо у моего попугая блохи. Гнусная лозь! Он теперь умер, бедолага, но не через блох, а через то, цо корма не стало... – На глаза Панафидина навернулись слёзы. – Ему ведь не всякий корм полезен...

– Да неузели? – передразнил его Буревой. – Ты еще расплачься! Здесь скоро люди начнут от голода пухнуть, а он жалуется, что корма для попугая нет! Врангель-то ваш весь хлебушек вывез на французских судах! И корм, наверное, тоже – для французских попугаев. Ты давай ближе к делу, Панафигин или как тебя там.

– Панафидин, господин товаришь нацяльник. – Грек вздохнул и продолжил: – Ну, вот-ц. Запечатлел, стало быть, я эту парочку, а за фотокардиями никто не присол. А вцера иду по улице и визу, как этот господин заходит в дом к гразданке Касьяновой. И по сторонам так есё оглядывается. Я его сразу узнал, хотя на нем, извините, ни кокарды, ни погон, как на этой фотокардии, а, напротив, всё цивильное да есё борода. Только редкая, всё равно узнать можно. Я заинтриговался и встал от дома тоцно наискосок, цтобы меня из окна не увидели, наблюдаю. Мне это просто: поставил аппарат и стою, будто клиентов озыдаю. Может, думаю, на минуточку засол господин бывсый офицёр, по делу какому? Только до ноци, гразданин нацяльник, из дому никто не выходил. А дальсе я узе не стал здать, замерз. А потом ресыл на всякий случай принести црезвычайной канцелярии карточки и негатив.

– Та-ак, – двигал скульптурными желваками Буревой. – Что же, Парафидин, послужил мировому пролетариату. Избав-



ляешься от мелкобуржуазных иллюзий. Молодец. Давай сюда свой пропуск.

– Я, гражданин нацьяльник, хотел бы есё насцёт ателье узнать...

– Ладно, – махнул рукой Буревой, – сымай пока. До освоения пролетариатом фотографической техники в полном объеме. А там мы вас к ногтю, мелких собственников.

– Хорошо бы бумазецку какую, гражданин комиссар, а то ведь без бумазки как?

– Вот привязался! – Буревой взял лист бумаги, черкнул на нем несколько слов, расписался и бросил через стол Панафидину. – Зайди в канцелярию и поставь печать. Давай пропуск. Никому ни слова, понял?

– Понял, как не понять, гражданин нацьяльник, не извольте беспокоиться! Могила! Премного, премного вам благодарен! – Грек пятился к двери с бумажкой, кланяясь, как и давеча, точно его появление показали в кино, а теперь откручивали плёнку назад.

Проводив его мрачным взглядом, Буревой взялся за рукоятку телефона, спросил в трубку:

– Товарищ Папанин уже приехал из Севастополя? Ага. Пригласи его ко мне. – И стал вертеть козью ножку, не спуская глаз со снимка.

Через несколько минут в кабинет вошёл вразвалку крепко сбитый усатый матрос с красными от недосыпа глазами, в бескозырке с надписью «Катерный причаль». От обычного матроса-черноморца его отличала хрустящая новенькая кожаная куртка на плечах и командирский маузер в лакированной кобуре. Буревой пожал Папанину руку.

– Садись, Иван. У меня вопрос насчёт Касьяновой. Скажи мне, с кем она сейчас работает?

– По агентурной линии – ни с кем. Мы её сейчас привлекаем к опознаниям, она здесь много офицерья и пособников знает.

– А вот этого она опознала? – Буревой перебросил Папанину фотографию. – Или это твой человек?

Матрос некоторое время изучал карточку.

– Нет, не видел такого. Надо проверить, конечно. Контриков в одной Ялте сотни, всех не упомнишь. Но что не мой – точно.

– А он, между прочим, живёт у неё, по имеющимся у нас сведениям.

– Как?

– А так. Ты вот что, Иван. Подготовь-ка к вечеру из своих людей оперативную группу на задержание. А пока установи

наблюдение за её домом, пусти «хвосты» за всеми, кто оттуда выйдет.

– Ясно, – задумчиво кивнул Папанин и вышел.

Буревой откинулся на спинку стула. Самокрутка погасла, но он забыл о ней.

– Эх, Аня, Анюта... – сквозь зубы сказал он. – В двойные игры играешь? Или полюбился тебе офицерик? Вот мы и поставим вас рядышком к стенке, а комендантский взвод вас сфотографирует. На вечную память.

Он снова взял фотографию. На него посмотрела большеглазая миловидная женщина в лёгком холстинковом декольтированном платье. Округлое лицо в тени шляпки, точёные смуглые плечи. В обнажённой по локоть полноватой руке дымится длинная папироса. Рядом развалился на плетёном стуле безусый офицер с нервным лицом. Лихо заломленный картуз с кокардой, выгоревший на солнце френч, мятые прапорщицкие погоны. В правом углу наискосок бежала кокетливая надпись с завитушками: «Не забывай Ялту. 1920-й год».

*Из блокнота*

---

## НОЧЬ, ПАРОМ, КРЫМ

Уж сколько раз бывал в Крыму и жил там подолгу, а никогда не забуду, как плыл паромом в НАШ Крым майской ночью 2014 года. Я волновался, наверное, словно перед первым свиданием, и всё думал: вот я сойду по трапу на землю и не увижу ни украинского пограничника, ни жовто-блакитного флага, у меня никто даже не проверит документы. Ни одна сволочь не потребует от меня заполнить «имиграційну картку». Никто не попробует заглянуть в мой чемодан. Потому что я снова в России: всё равно как с правого берега Волги на левый переплыл. Я – в России. Я – в России. Я даже не повторял это – так стучало сердце. Вероятно, это были смешные и детские эмоции, но ведь примерно такие же испытывали те, кто впервые плыл в Крым после присоединения его к России свыше двухсот лет назад.

Как только наш старенький паром отошёл от стенки, все перебрались на верхнюю палубу: смотреть на размытые керченские огни впереди. Плескала волна за бортом, туман стоял над водой, и крупные южные звезды – над головами. Ветер, дующий

нам навстречу, принёс из Керчи непередаваемый, сладковато-хвойный крымский запах.

Какая-то предприимчивая тётенька тут же, на палубе, продавала горячие пирожки из закутанной в одеяло кастрюли и наливала в пластиковые стаканчики кофе и крымский коньяк. Как тут было не выпить? Чудесная, незабываемая ночь! Вероятно, не я один испытывал волнение, потому что наши спутницы, девушки из мурманского фольклорного ансамбля, запели, может быть, не очень подходящую по месту и смыслу, но так отвечавшую нашему настроению песню:

*Прощайте, скалистые горы,  
На подвиг Отчизна зовёт!*

А стоявший неподалёку со своей девушкой парень вдруг подхватил глубоким и сильным, явно профессиональным баритоном:

*Мы вышли в открытое море,  
В суровый и дальний поход.*

Когда допели песню, выяснилось, что «парень» был солистом из Мариинки. Я понял, что он испытывает то же самое, что и я, что и все мы. Мы были на этом пароме одним народом, нас всех из недавнего атомарного состояния объединило возвращение Крыма. Это было более глубокое ощущение, чем то, что я переживал ранее, представляя, как ступлю на землю НАШЕГО Крыма. Моё сердце тогда стучало: «Я – в России», а теперь оно говорило: «Мы – Россия».

## ПОСРАМЛЕНИЕ БОГА ЖРАТВЫ

В сентябре 2015 года меня пригласили выступить в Ялтинском театре имени Чехова на вечерах-спектаклях, посвящённых Шолохову и Грибоедову. Честно говоря, поначалу я испытывал некоторые сомнения, что мероприятия будут иметь успех. Современные крымчане казались мне достаточно индифферентными к литературе людьми. Дело в том, что властители Украины, начиная с Кравчука, не будучи в состоянии дать народу идеалы, привили ему культ жратвы. Здесь я имею в виду даже не крымчан, а их гостей из «жовто-блакитной родины человечества». Понятие отдыха у них неотделимо от процесса интенсивного и

непрерывного приёма пищи. Даже выпивка, пожалуй, на втором месте, хотя выпить они тоже не дураки. Православные называют этот грех гортанобесием. Малороссы в Крыму, где бы они ни находились, всё время чем-то набивали желудки, особенно на пляжах, куда с утра приходили с картошкой, салом, колбасой, огурцами, консервами (привезёнными, между прочим, с материка) и сидели за своими скатертями-самобранками до вечера. время от времени тяжело, как бегемоты, погружаясь в море, что ещё больше разжигало их аппетит. Крымчанам это совершенно несвойственно, они и на пляжи не ходят в дневное время и не любят есть в жару, но эти украинские гости-обжоры не могли не повлиять на их психологию отчасти в смысле возможности заработать на чревоугодии гостей, потому что другой такой возможности, не считая традиционной сдачи отдыхающим жилья внаём, в общем-то, и не было.

Вот вам летний пейзаж в Крыму времён «незалежной»: одни жрут «на бреже синему морю», свесив на колени объёмистые животы, а другие, обливаясь потом, подносят «снаряды». Между ними, диковато озираясь, ходят с пивом и минералкой российские туристы, порой неуверенно присоединяясь к жратве (может быть, здесь так надо, коли нет «всё включено»? ). Перелом произошел лишь в позапрошлом году (в 2014-м украинцев в Крыму было еще достаточно). Массовое преобладание отдыхающих из России, не имеющих скверной привычки есть картошку и консервы в общественных местах, быстро свело украинскую жратку в Крыму на нет, к великому сожалению торговцев харчами навывнос (вот они патриоты Украины в Крыму, если кто их ищет!), и стало в разы меньше мусора – это при том, что в крымском ЖКХ произошли значительные сокращения по причине необходимости повышения работникам зарплат. Но психология-то осталась. 22 года миллионы гостей здесь лопали, как акулы: вы думаете, такое проходит бесследно? Ведь смысл жизни в жратве видят не только «пользователи», но и невольно те, кто их обслуживает. Прибавьте сюда тот факт, что с 1992 года ни одна крымская библиотека, не считая республиканской и некоторых севастопольских, не получала ни одной книги и ни одного журнала из России. «Крымская весна» была делом чувства да ещё генетической, народной памяти, а не знания. Она совершалась в большей степени русским сердцем, нежели умом. Кто-то, может быть, и читал в Крыму Грибоедова и Шолохова в минувшее двадцатилетие, однако подозреваю, что таких людей было немного.

Но я ещё за несколько часов до первого нашего спектакля понял, что мои опасения, слава богу, напрасны. В этот день в Ялте отмечали местный День благотворительности и милосердия, и на набережной имени Ленина, недалеко от его же статуи в обрамлении пальм, играл духовой оркестр Черноморского флота. Он предпочитал джазовые и блюзовые композиции, воспринимавшиеся ялтинцами весьма тепло, но надо было видеть, что с ними стало, когда оркестр заиграл попурри из русских народных песен! В пляс пустилась даже работница метлы и совка в оранжевом жилете, совершенно, отмечу, трезвая, но особенно поразила девочка лет четырех-пяти, которая умело пошла по кругу в русской плясовой. Глядя на расцветшие улыбками лица людей, я думал, что их слишком долго заставляли забыть, что они русские, и теперь, после избавления от службы украинскому богу жратвы, они очень отзывчиво, куда более отзывчиво, чем в Москве, откликаются на всё русское. Не было ничего похожего в их глазах, когда, помню, в один из Дней Ялты при украинской власти слушали они на набережной «Вопли Видоплясова». Пиво, сигаретный дым, мусор, матерщина, те же чебуреки и шаурма, пустые глаза, а что горело, так это только зажигалки и подсветка мобильных телефонов молодежи... Потом и на «майдане» такое световое шоу устроили инспектирующему Украину Маккейну...

И даже если ялтинцы давно не открывали Грибоедова и Шолохова, то всё равно знают, что это тоже нечто очень русское. И на шолоховском, и на грибоедовском представлении театр имени Чехова был полон, причём на последнем люди даже стояли в проходах. Но, главное, конечно, было не в количестве зрителей. По бесплатным пригласительным билетам мало людей в такой прекрасный театр, да еще на московских гостей, в любом случае не пришло бы. Важны были глаза ялтинцев, в которых не увидел я ни тени скуки и праздности (а большую часть шолоховского спектакля я специально просидел в зале), зато увидел тот же русский огонь, что и в глазах тех, кто аплодировал музыкантам-морякам на набережной. С той лишь разницей, что у зрителей в театре было четкое, на мой взгляд, понимание, что они не просто вернулись в Россию, они снова вернулись в великую русскую культуру.